

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

Виктор Пелевин

Омон Ра



МОСКВА

2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П24

Пелевин, Виктор Олегович.

П24 Омон Ра : повесть / Виктор Пелевин. — Москва : Эксмо, 2022. — 192 с.: ил. — (Народное собрание сочинений Виктора Пелевина).

ISBN 978-5-04-171938-8

«Омон Ра» рисует курьезный мир жестокой действительности, где человеческое существо напоминает наглухо замурованную ракету с нарисованной дверью, а полет на Луну оказывается метафорой нашей жизни — и в личном, и в историческом смысле.

С неподражаемым изяществом Виктор Пелевин предлагает альтернативную версию событий, которые никем до этого не ставились под сомнение.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Пелевин В. О., 2014
© Васильев А., иллюстрации, 2015
© Стягина И., иллюстрации, 2015
© Татарских А., иллюстрации, 2015
© Корнев А., иллюстрации, 2015
© Маслова Ю., иллюстрации, 2015
© Губченко Г., иллюстрации, 2015
© Огнева Е., иллюстрации, 2015
© Дурасов А., иллюстрации, 2014
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

ISBN 978-5-04-171938-8

1

Омон — имя не особо частое и, может, не самое лучшее, какое бывает. Меня так назвал отец, который всю свою жизнь проработал в милиции и хотел, чтобы я тоже стал милиционером.

— Пойми, Омка, — часто говорил он мне, выпив, — пойдешь в милицию — так с таким именем, да еще если в партию вступишь...

Хоть отцу и приходилось иногда стрелять в людей, он был человек незлой души, по природе веселый и отзывчивый. Меня он очень любил и надеялся, что хотя бы мне удастся то, что не удалось в жизни ему. А хотел он получить участок земли под Москвой и начать выращивать на нем свеклу и огурцы — не для того, чтобы продавать их на рынке или съедать, хотя и это все тоже, а для того, чтобы, раздевшись до пояса, рубить лопатой землю, смотреть, как шевелятся красные черви и другая подземная жизнь, чтобы возить через весь дачный поселок тачки с навозом, останавливаясь у чужих калиток побалагурить. Когда он понял, что ничего из этого

у него не выйдет, он стал надеяться, что счастливую жизнь проживет хотя бы один из братьев Кривомазовых (мой старший брат Овир, которого отец хотел сделать дипломатом, умер от менингита в четвертом классе, и я помню только, что на лбу у него была продолговатая большая родинка).

Мне отцовские планы на мой счет особого доверия не внушали — ведь сам он был партийный, имя у него было хорошее — Матвей, но все, что он себе выслужил, это нищую пенсию да одинокое старческое пьянство.

Маму я помню плохо. Осталось в памяти только одно воспоминание — как пьяный папа в форме пытается вытянуть из кобуры пистолет, а она, простоволосая и вся в слезах, хватается за руки и кричит:

— Матвей, опомнись!

Она умерла, когда я был совсем маленьким, и я вырос у тетки, а отца навещал по выходным. Обычно он был опухший и красный, с косо висящим на засаленной пижамной куртке орденом, которым он очень гордился. В комнате у него нехорошо пахло, а на стене висела репродукция фрески Микеланджело «Сотворение мира», где над лежащим на спине Адамом парит бородатый Бог, простерший свою длань навстречу тонкой человеческой руке. Эта картин-

ка довольно странно действовала на душу отца и, видно, что-то ему напоминала из прошлого. У него в комнате я обычно сидел на полу и играл с маленькой железной дорогой, а он храпел на раздвинутом диване. Иногда он просыпался, некоторое время щурил на меня глаза, а потом, опершись о пол, свешивался с дивана и протягивал мне большую венистую кисть, которую я должен был пожать.

— Фамилия твоя как? — спрашивал он.

— Кривомазов, — отвечал я, поддельывая застенчивую улыбку, и он гладил меня по голове и кормил конфетами; все это выходило у него так механически, что мне даже не было противно.

О тетке мне сказать почти нечего — она была ко мне равнодушна и старалась, чтобы я больше времени проводил в разных пионерлагерях и группах продленного дня — кстати сказать, удивительную красоту последнего словосочетания я вижу только сейчас.

Из своего детства я запомнил только то, что было связано, так сказать, с мечтой о небе. Конечно, не с этого началась моя жизнь — еще раньше была длинная светлая комната, полная других детей и больших пластмассовых кубиков, беспорядочно разбросанных по полу; были обледенелые ступени деревянной горки, по ко-

торым я торопливо топал вверх; были какие-то потрескавшиеся юные горнисты из крашеного гипса во дворе и много другого. Но вряд ли можно сказать, что все это видел я: в раннем детстве (как, быть может, и после смерти) человек идет сразу во все стороны, поэтому можно считать, что его еще нет; личность возникает позже, когда появляется привязанность к какому-то одному направлению.

Я жил недалеко от кинотеатра «Космос». Над нашим районом господствовала металлическая ракета, стоящая на сужающемся столбе титанового дыма, похожем на воткнутый в землю огромный ятаган. Странно, но как личность я начался не с этой ракеты, а с деревянного самолета на детской площадке у своего дома. Это был не совсем самолет, а скорее домик с двумя окошками, к которому во время ремонта прибили сделанные из досок снесенного забора крылья и хвост, покрыли все это зеленой краской и украсили несколькими большими рыжими звездами. Внутри могло поместиться человека два-три, и еще был небольшой чердачок с глядящим на военкоматовскую стену треугольным окошком — по негласному дворовому соглашению этот чердачок считался пилотской кабиной, и когда самолет сбивали, сначала выпрыгивали те, кто сидел в фюзеляже, и только

потом, когда земля уже с ревом неслась к окнам, пилот мог последовать за остальными — если, конечно, успевал. Я всегда старался оказаться пилотом и даже овладел умением видеть небо с облаками и плывущую внизу землю на месте кирпичной стены военкомата, из окон которого безысходно глядели волосатые фиалки и пыльные кактусы.

Я очень любил фильмы про летчиков; с одним из таких фильмов и было связано сильнейшее переживание моего детства. Однажды, в космически черный декабрьский вечер, я включил теткин телевизор и увидел на его экране покачивающийся крыльями самолет с пиковым тузом и крестом на фюзеляже. Я наклонился ближе к экрану, и на нем сразу же возник увеличенный фонарь кабины: за его толстыми стеклами улыбалось нечеловеческое лицо в очках вроде горнолыжных и в шлеме с блестящими эбонитовыми наушниками. Пилот поднял ладонь в перчатке с черным раструбом и помаhal мне рукой. Потом на экране появился фюзеляж другого самолета, снятый изнутри: за двумя одинаковыми штурвалами сидели два летчика в полусубках и внимательно следили сквозь перехваченный стальными полосами плексиглас за эволюциями вражеского истребителя, летевшего совсем рядом.

— «Ме-сто девять», — сказал один летчик другому. — Сажать будут.

Другой, с красивым испитым лицом, кивнул головой.

— Зла на тебя не держу, — сказал он, видимо продолжая прерванный разговор. — Но запомни: чтоб у тебя это с Варей было на всю жизнь... До могилы.

Тут я перестал воспринимать происходящее на экране — меня поразила одна мысль, даже не мысль, а ее слабо осознанная тень (словно сама мысль проплыла где-то рядом с моей головой и задела ее лишь своим краем), — о том, что если я только что, взглянув на экран, как бы посмотрел на мир из кабины, где сидели два летчика в полужубках, то ничто не мешает мне попадать в эту и любую другую кабину без всякого телевизора, потому что полет сводится к набору ощущений, главные из которых я давно уже научился подделывать, сидя на чердаке краснозвездной крылатой избушки, глядя на заменяющую небо военкоматовскую стену и тихо гудя ртом.

Это неясное понимание так потрясло меня, что остаток фильма я досмотрел не очень внимательно, включаясь в телевизионную реальность только при появлении на экране дымных трасс или набегающего ряда стоящих на земле

вражеских самолетов. «Значит, — думал я, — можно глядеть из самого себя, как из самолета, и вообще не важно, откуда глядишь, важно, что при этом видишь...» С тех пор, бредя по какой-нибудь зимней улице, я часто представлял себе, что лечу в самолете над заснеженным полем; поворачивая, я наклонял голову, и мир послушно кренился вправо или влево.

И все же тот человек, которого я с полной уверенностью мог бы назвать собой, сложился позже и постепенно. Первым проблеском своей настоящей личности я считаю ту секунду, когда я понял, что кроме тонкой голубой пленки неба можно стремиться еще и в бездонную черноту космоса. Это произошло в ту же зиму, вечером, когда я гулял по ВДНХ. Я шел по пустой и темной заснеженной аллее; вдруг слева донеслось жужжание, похожее на звонок огромного телефона. Я повернулся и увидел *его*.

Откинувшись назад и сидя в пустоте, как в кресле, он медленно плыл вперед, и за ним так же медленно распрямлялись в пространстве шланги. Стекло его шлема было черным, и только треугольный блик горел на нем, но я знал, что он видит меня. Возможно, уже несколько веков он был мертв. Его руки были уверенно протянуты к звездам, а ноги до такой степени не нуждались ни в какой опоре, что я понял раз

и на всю жизнь, что подлинную свободу человеку может дать только невесомость — поэтому, кстати, такую скуку вызывали у меня всю жизнь западные радиоголоса и сочинения разных солженицыных; в душе я, конечно, испытывал омерзение к государству, невнятные, но грозные требования которого заставляли любую, даже на несколько секунд возникающую группу людей старательно подражать самому похабному из ее членов, — но, поняв, что мира и свободы на Земле не достичь, духом я устремился ввысь, и все, чего потребовал выбранный мною путь, уже не вступало ни в какие противоречия с моей совестью, потому что совесть звала меня в космос и мало интересовалась происходящим на Земле.

Передо мной была просто освещенная прожектором мозаика на стене павильона, изображавшая космонавта в открытом космосе, но она за один миг сказала мне больше, чем десятки книг, которые я прочел к этому дню. Я смотрел на нее долго-долго, а потом вдруг почувствовал, что кто-то смотрит на меня.

Я оглянулся и увидел у себя за спиной мальчика моего возраста, который выглядел довольно необычно — на нем был кожаный шлем с блестящими эбонитовыми наушниками, а на шее у него болтались пластмассовые плавательные

очки. Он был выше меня на полголовы и, вероятно, чуть постарше; войдя в освещенную прожектором зону, он поднял ладонь в черной перчатке, растянул губы в холодной улыбке, и перед моими глазами на секунду мелькнул летчик в кабине истребителя с пиковым тузом.

Его звали Митёк. Оказалось, что мы живем совсем рядом, хоть и ходим в разные школы. Митёк сомневался во многих вещах, но одно знал твердо. Он знал, что сначала станет летчиком, а потом полетит на Луну.

Есть, видимо, какое-то странное соответствие между общим рисунком жизни и теми мелкими историями, которые постоянно происходят с человеком и которым он не придает значения. Сейчас я ясно вижу, что моя судьба уже вполне четко определилась в то время, когда я еще даже не задумывался всерьез над тем, какой бы я хотел ее видеть, и больше того — уже тогда она была мне показана в несколько упрощенном виде. Может быть, это было эхо будущего. А может быть, то, что мы принимаем за эхо будущего, — на самом деле семя этого будущего, падающее в почву в тот самый момент, который потом, издали, кажется прилетавшим из будущего эхом.

Короче, лето после седьмого класса было жарким и пыльным. Из его первой половины мне запомнились только долгие велосипедные прогулки по одному из подмосковных шоссе. На заднее колесо своего полуночного «Спорта» я ставил специальную трещотку из куска сложенной в несколько раз плотной бумаги, прикре-

пленной к раме прищепкой, — когда я ехал, бумага билась о спицы и издавала быстрый тихий треск, похожий на шум авиационного двигателя. Несясь вниз с асфальтовой горы, я много раз становился заходящим на цель истребителем, далеко не всегда советским, но вина тут была не моя, просто в самом начале лета я услышал от кого-то идиотскую песню, в которой были слова: «Мой «Фантом», как пуля быстрый, в небе голубом и чистом с ревом набирает высоту». Надо сказать, что ее идиотизм, который я достаточно ясно осознавал, не мешал мне трогаться ею до глубины души. Какие еще я помню слова? «Вижу в небе дымную черту... Где-то вдалеке родной Техас». И еще были отец, и мать, и какая-то Мэри, очень реальная из-за того, что в песне упоминалась ее фамилия.

К середине июля я вернулся в Москву, а потом родители Митька достали для нас путевки в пионерлагерь «Ракета». Это был обычный южный лагерь, может быть даже немного лучше других. Я хорошо запомнил только первые дни, которые мы там провели, но именно тогда и случилось все то, что потом стало существенным. В поезде мы с Митьком бегали по вагонам и сбрасывали в унитазы все бутылки, которые мне удавалось найти, — они падали на несущееся под крохотным люком железнодорожное